

Знаменательные и памятные даты — хороший повод, чтобы всерьез приобщаться к нашему духовному и творческому наследию, которое с годами не только не устаревает, но во многом опережает нынешнее время. 16 февраля 2021 года исполнится 190 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831—1895) — одного из крупнейших русских христианских писателей-классиков.

Небывалый талант Лескова, созданный им самобытный художественный мир ни при жизни писателя, ни долгое время после его смерти не был оценен по достоинству. Стихотворная строчка Игоря Северянина о Лескове: «Достоевскому равный, он — прозванный гений», — до недавнего времени звучала горькой истиной. Тот же поэт приблизился к постижению сущности творчества Лескова, когда образно сравнил писателя со священнослужителем:

*Придет весна, светла как Божья Матерь,
И повелит держать пасхальный звон,
И выйдет, как священник на амвон,
Писатель...*

Пожалуй, наиболее точную характеристику дал литературный критик М. О. Меньшиков, назвавший лесковское творчество «художественной проповедью»*.

Лесков был убежден в том, что книги должны «не только занять внимание читателя, но дать какое-нибудь доброе направление его мыслям». Это «доброе направление» писатель связывал прежде всего с верой в Бога, отмечая, что «цели христианства вечны»**. Лесков говорил, что всегда имел в виду «важность Евангелия», в котором, по его убеждению, «сокрыт глубочайший смысл жизни» (XI, 233). «Истина,

* Меньшиков М.О. Художественная проповедь (XI том сочинений Н.С. Лескова) // Меньшиков М.О. Критические очерки.— СПб., 1899.

** Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т.— М.: ГИХЛ, 1956 — 1958.— Т. 11.— С. 287. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением тома римской цифрой, страницы — арабской.

добро и красота» — в этой триединой формуле он выразил идеал, к которому необходимо стремиться.

«Литература — тяжелое, требующее великого духа поприще», — говорил Лесков и самоотверженно шел этим путем, который можно расценить как настоящий писательский подвиг. На склоне лет художник «непостыдной совести» мог по праву заявить: «Я отдал литературе всю жизнь и передал ей все, что мог получить приятного в этой жизни, а потому я не в силах трактовать о ней с точки зрения поставщицей. <...> я верую так, как говорю, и этой верою жив я и крепок во всех утеснениях. Из этого я не уступлю никому и ничего, — и лгать не стану, и дурное назову дурным кому угодно»*.

В своем творчестве Лесков изобразил многокрасочную полноту мира, мозаично пестрые картины жизни России. Как былинного богатыря, писателя, по его словам, «тяготила тяга» знания родной земли». Лесковское творчество проникнуто подлинным, некнижным знанием народной жизни. В цикле статей «Русское общество в Париже» (1863) автор заявлял: «Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я *вырос в народе* на гостомельском выгоне <...>, так мне непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги. Я с народом был свой человек». Будучи «насквозь русским», зная русского человека «в самую его глубь», писатель воплотил в своих героях — с их речью, мироощущением, душевными порывами — все существенные особенности национального характера. Томас Манн справедливо отмечал, что Лесков писал «чудеснейшим русским языком и провозвестил душу своего народа так, как это, кроме него, сделал только один — Достоевский».

Лесков вступил на писательскую стезю в 1860-е годы, будучи уже зрелым, сформировавшимся человеком с большим жизненным опытом и огромным запасом житейских наблюдений. Не завершив образования в орловской гимназии, «свои университет» будущий писатель постигал «самоучкой». В литературе он выступил прежде всего как публицист. Он сотрудничал в разных периодических изданиях Москвы и Петербурга, и уже первые публикации «новейшего орловца» привлекли внимание читателей актуальной проблематикой, живой достоверностью и объемом знаний, честной авторской позицией, искренней интонацией. Стремясь, по его словам, «пролить в массы свет разумения», Лесков — публицист-просветитель поднимал множество тем: «Торговая кабала», «Вопрос об искоренении пьянства в рабочем классе», «Русские женщины и эмансипация», «Как относятся взгляды некоторых просветителей к народному просвещению», «Русские люди, состоящие “не у дел”» и др. В своих заметках, статьях, очерках, многие из которых и сегодня воспринимаются как остроактуальные, автор не просто высказывал собственное мнение по животрепещущим социально-экономическим, политическим, культурным вопросам, но и обращался к самой сути жизни России, ни на минуту не забывая об ответственной позиции «глашатая истины», призванного к активной борьбе со злом, произволом, деспотизмом, невежеством, косностью, коррупцией и другими пороками.

После статьи о петербургских пожарах, в которой автор призывал бездействующую власть либо опровергнуть слухи о поджигателях, либо — если толки небеспочвенны — найти и наказать злодеев, Лесков оказался в положении «между двух огней». В раскаленной политической атмосфере тех лет «пожарная статья» вызвала суровые нападки «справа» и «слева»: со стороны правящего лагеря свое неодобрение выразил Александр II, а радикальная литературная критика фактически объявила Лескову бойкот. Писатель, по его словам, был «распят заживо».

С тех пор он прокладывал себе «третий» путь — «против течений», искал «противоположную всем дорогу». «Не подчиняясь ни партийным, ни каким другим дав-

* Цит. по: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2-х т. — Т. 2. — М.: Худож. лит., 1984. — С. 348.

лениям» (XI, 222), Лесков отказывался «с притворным благоговением нести мишурные шнуры чьего бы то ни было направленного штандарта» (XI, 234). «*Свое уединенное положение*» (XI, 425) писатель подчеркивал в показательной самохарактеристике: «Дело просто: я не нигилист и не аутократ, не абсолютист и не ищу славы моея, но славы пославшего мя Отца» (XI, 425).

О пастырском служении — «учить, вразумлять, отклонять от всякого <...> вздора и суеверий» — размышлял Лесков уже в своем дебютном художественном произведении «Погасшее дело («Засуха»)» (1862). Знаменательно, что первым героем лесковской беллетристики стал сельский священник — отец Илиодор. В подзаголовке помечено: «*Из записок моего деда*». Дед Лескова умер еще до рождения внука, но будущий писатель знал о нем от родных: «всегда упоминалось о бедности и честности деда моего, священника Димитрия Лескова». В характере героя «Засухи» многое предвещает центральную фигуру романа-хроники «Соборяне» (1872) — Савелия Туберозова. Болея душой за судьбу Родины, этот «мятежный протопоп» и бесстрашный проповедник убежден, что нельзя жить «без идеала, без веры, без почтения к деяниям предков великих... это сгубит Россию» (IV, 183).

С целью опровержения крайне пессимистического заявления А. Ф. Писемского, объявившего, что он видит во всех своих соотечественниках одни только «мерзости», Лесков в предисловии к рассказу «Однодум» (1879) возвестил: «Мне это было и ужасно и несносно, и пошел я искать праведных, пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя то небольшое число трех праведных, без которых “несть граду стояния”» (VI, 642). Эти поиски стали магистральными в творчестве писателя. «У нас не переводились, да и не переведутся праведные,— утверждал он в рассказе «Кадетский монастырь» (1880).— Их только не замечают, а если стать присматриваться — они есть». «Это своего рода маяки»,— писал Лесков в очерке «Вычегодская Диана (Попадья-охотница)» (1883). Почти в каждом его произведении, начиная с ранних, оживают типы людей «высокой пробы» всех сословий и званий. В этом отношении Лесков — уникальная фигура в истории литературы.

В противовес сегодняшней всеобщей жажде наживы и продажности, «замечаемому ныне чрезмерному усилению в нашем обществе холодного и бесстрастного эгоизма и безучастия»,— как говорил писатель,— в его цикле о праведниках изображены «отрадные явления русской жизни», «сердца», что «были немножко потеплее и души поучастливее». По словам Бориса Константиновича Зайцева, жизнь лесковских героев-праведников — это «рука, протянутая человеком к человеку во имя Бога».

«Живой дух веры», самоотверженная любовь к Богу и ближнему в соединении с практическим делом показаны Лесковым в разнообразных проявлениях. Таковы, например, неподкупность «неберущего квартального» Рыжова («Однодум»); бессребреничество Николая Фермора, стремление к святости Брянчанинова и Чихачева («Инженеры-бессребреники»); совестливость, благородство, участливость воспитателей-наставников («Кадетский монастырь»); духовный свет «русских богоносцев» — священнослужителей («Некрещеный поп», «Владычный суд», «На краю света»); патриотизм и талантливость Левши («Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»). Готовы на подвиг самоотвержения во имя высокого человеколюбия герои рассказов «Павлин», «Пигмей», «Русский демократ в Польше», «Несмертельный Голован», «Тупейный художник», «Человек на часах», «Пугало», «Дурачок», «Томление духа», «Фигура» и многих других.

Праведники, которых Лесков разыскивал на протяжении всего творческого пути и среди священников, и среди мирян — среди всех сословий и социальных групп русского общества,— давали повод для оптимизма, для *оправдания* Руси. Однако в «банковский период» ситуация обострялась тем, что христианские порывы лесковских героев не могли кардинально изменить «безбожную» действительность, приблизить обетование пророчества Исаии о том времени, когда «земля будет наполнена ведением

Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11: 9). Вот почему в последние годы писатель обращается к обличительному, остро сатирическому изображению жизни.

Россия — страна, где человека постоянно подстерегают «метаморфозы», «сюрпризы» и «внезапности»: «что ни шаг, то сюрприз, и притом самый скверный» (III, 383). Лесков остро ощущал хрупкость и алогичность человеческого существования в условиях «гнусной рассейской действительности»: «смех и горе», любовь и ненависть, надежда и отчаяние — эти сильнейшие колебания «эмоционального маятника» создавали ощущение разбалансированности, крайней неустойчивости бытия, которое могло бы быть цементировано христианской верой, следованием заповедям Нового Завета. Усиление критического пафоса в лесковских произведениях последнего периода творчества связано прежде всего с созидательной задачей «стремления к высшему идеалу» (X, 440).

Именно «вера в прекрасное», несмотря на «полное вырождение общества», питала проповеднический энтузиазм Лескова. Задачу писателя составляло не только стремление затормозить процесс нравственного оскудения, но и восстановить утраченный тип «высокого вдохновения», духовный потенциал человека. При перечитывании Нового Завета Лесков обращает внимание на «прямое указание, что Христа озабочивает, чтобы упразднить всякое начальство и всякую власть и силу, и что без этого дело Его здесь не кончится»*. В Евангелии читаем: «А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, и всякую власть, и силу» (1 Коринф. 15: 24).

Писатель решает воочию показать, насколько общество отклонилось от идеала христианства. «Мои последние произведения о русском обществе весьма жестоки, — таково авторское самоопределение. — <...> Эти вещи не нравятся публике за цинизм и простоту. Да я и не хочу нравиться публике. Пусть она хоть давится моими рассказами, да читает. <...> Я хочу бичевать ее и мучить»**. Это целительное бичевание в атмосфере полнейшего цинизма и нравственной индифферентности сродни тому бичеванию, которым Христос изгонял торгующих из храма.

Писатель чаще всего использовал излюбленную им форму «рассказа кстати» — точнее это можно назвать лесковской литературной тактикой. Все его произведения (не только собранные в цикл «Рассказы кстати») — так или иначе «по поводу» и «кстати». Верный своей «журналистской жилке», отталкиваясь от конкретного животрепещущего, актуального события, Лесков постепенно поднимается до больших художественных обобщений. Многие из «рассказов кстати», в том числе малоизвестные, не вошедшие в одноименный цикл, — «Два свинопаса», «Новозаветные евреи», «Уха без рыбы» и др., — показательная иллюстрация религиозных размышлений и философских идей Лескова.

В рассказе «Старинные психопаты» (1885) писатель показывает религиозные воззрения «легендарного оригинала» «самодумного» пана Вишневого: «В вопросах веры он был невежда круглый и ни в критику, ни в философию религиозных вопросов не пускался, находя, что “се діло поповское”, а как “лыцарь” он только ограждал и отстаивал “свою веру” от всех “иноверных”, и в этом пункте смотрел на дело взглядом народным, почитая “христианами” одних православных, а всех прочих, так называемых “инославных” христиан — считал “недоверками”, а евреев и “всю остальную сволочь” — *поганцями*» (7, 296).

Рисуя теплоту искренней веры в рассказе «Интересные мужчины» (1885), писатель указал и на иную — настораживающую — фигуру. «Колдун», «мистик» Август Матвейч, в облике которого рассказчику чудится что-то холодное и безучастно-механистическое: «похож на никогда не изменяющие себе английские часы в длин-

* Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. — М.: Гослитиздат, 1962. — С. 546 — 547.

** Цит. по: Фаресов А. И. Против течений. Н. С. Лесков, его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нем. — СПб., 1904. — С. 382.

ном футляре <...> указать они могут все, отметят все — и останутся сами собой (7, 329—330). В то же время этот «человек-часовой механизм» имеет в своем облике нечто инфернальное: «красная шелковая фуфайка, как кровь, сверкает из-под белых манжет. Точно он снял с себя живую кожу да чем-то только обернулся» (7, 330). «Живой часовой механизм» Август Матвейч бормочет себе под нос польские стихи, от которых рассказчику делается жутко, «не по себе»:

*Я Бога не хочу, я не чую неба,
Я на небо не пойду... (7, 332).*

Именно «не хотят Бога, не чуют неба» многие персонажи последних остро критических произведений Лескова. «Чиновники с виду», администраторы, власть держащие, «чертовы куклы» (так называется последний роман Лескова) объективно избирают сторону зла, занимают позицию доброненавистников.

Праведник Рыжов («Однодум») заявляет губернатору, что власти «ленивы, алчны и пред престолом криводушны». Таковы, к примеру, герои «Совместителей» (1884), «свмещающие» служебный долг с альковными обязанностями в постели одной и той же дамы. Таково «Умершее сословие» (1888) губернаторов типа «невразумительного» Трубецкого, «охотника пошуметь», который «знал и понимал в делах очень мало, но безмерно любил власть и страдал охотою вмешиваться во все» (7, 421).

Таково привычное для чиновной России явление, названное Лесковым «Административная грация» с подзаголовком «Zahme dressur... <ручная дрессировка (нем.)> в жандармской аранжировке» (по мнению сына писателя, рассказ был создан в 1893 г. При жизни Лескова не публиковался). «Цирковой» трюк состоит в том, что «умелому администратору грация помогает самое неприятное дело развязать так, чтобы на его ведомстве не оказалось ни пятнышка, а вся грязь осталась на тарелке, то есть на самом обществе».

Понятен и органичен устрашающий библейский эпиграф к рассказу «Административная грация»: «*Оскверни беззакония всю землю и наполнена суть дела их вредная. Ездры. III кн. гл. XV, 6*». Нравственно разлагающуюся, смердящую современность Лесков уже именует не просто временем “разгильдяйства и шатаний” (XI, 300), “всяческих уродств и кривляний”, но прямо называет “*смердными днями*”.

В развернутой метафоре рассказа «Загон» (1893) автор констатирует: «это был уже не город, а какое-то разбойное становище». И далее естественны библейские аллюзии: «И увидел Бог, что злы здесь дела всех <...> не обретя ни одного праведного» (12, 105 — 106).

Отсюда уже совсем недалеко до «Содома и Гоморры»* рассказа “Зимний день” (1894). Налицо эмоционально-семантическая общность библейских эпиграфов, которые под пером Лескова становятся универсальными нравственно-философскими метафорами. К “пейзажу и жанру” “Зимнего дня» подобран эпиграф не менее жуткий: “*Днем они сретают тьму и в полдень ходят ощупью, как ночью» Иова, V, 14*” (12, 4).

Лесков показал картину всеобщего разложения, продажности, подкупа, шпионства, доносов, предательства, разврата и разгула чувственной похоти — «*свинопасения*» (если использовать образ его рассказа «Два свинопаса»). Как известно из Евангелия, бесы, вселившись в свиней, побудили их броситься в бездну. Писатель видит глубину этой гибельной бездны и не может не ужасаться ей: «“Содом”, — говорит <...> Правильно. Каково общество, таков и “Зимний день”»**.

«Содом» неминуемо был бы испепелен гневом Божиим, если бы не те немногие праведники, ради которых Господь изрек: «*Пощажу*» (Быт. 18: 26). В центре «Зимнего дня» — образ Лидии — идеальной героини, «женщины будущего», согласно ха-

* Редактор «Вестника Европы» М. Стасюлевич, которому Лесков предложил рассказ, опасаясь опубликовать его, отозвался о «Зимнем дне»: «Это — отрывок из “Содома и Гоморры”, и я не дерзаю выступить с таким отрывком на Божий свет» (Цит. по: Лесков А. Н. Указ. соч. Т. 1. — С. 19).

** Цит. по: Фаресов А. И. Парадоксы Н. С. Лескова // Слово. 1905. № 147. 11 мая.

рактистике Лескова. Она следует Новому Завету; в споре с теткой, считающей, что «общество не так устроено, чтобы все по Евангелию, и нельзя от нас разом всего этого требовать» (12, 19),— именно евангельское слово помогает Лидии одержать духовно-нравственную победу. Было отмечено, что героиня целиком выражает лесковскую позицию. Это, по выражению сына писателя, как бы «фонограф автора».

Рассказ очень идеологичен: герои много говорят и спорят о Л. Н. Толстом и «толстовцах»: «не так страшен черт, как его малютки». Разжалованные Лесковым «малютки», «лепетуны», «ковырялки», «непротивленьши» были страшно обижены, сам же «яснопольный учитель» хранил молчание*.

В отношении к Л. Толстому Лесков сохранял независимость суждений и право на «разномыслие» с «яснопольным наставником». Не случайно Толстой пронизательно определил Лескова с их первой встречи: «Какой умный и оригинальный человек!»** В плане «ума и оригинальности» показательна следующая «нотатка» в одной из лесковских записных книжек: «В разъяснениях и толкованиях Л. Н. Т. есть “нечто неудобовразумительное” (как выражался Апостол Петр об Апостоле Павле), но он поднял современных ему людей на высоту, не достижимую для пошлости, не восходящей выше соображения “выгодности и невыгодности”, но во всех людях, тронутых им, наверно, уцелеет если не убеждение, то сознание или понятие, что “мы живем не так, как следует жить”»***.

Народная жизнь — это «юдоль плача». Лесков видит затравленного, полусумасшедшего, до крайности нищего — «лишенного» — «порционного мужика» («Импровизаторы» — 1892): «амкнул — и нет его» (11, 223). Это такой же «продукт природы», как и мужики-переселенцы в рассказе с одноименным названием (1893). Они делаются «продуктом» и для съедающих их вшей, и для социальных паразитов всех мастей. Длительная агония невыносима. «Столько уже этого вошеводства, что зуд делается от воспоминаний» (XI, 556),— восклицает в одном из писем Лесков.

И все же его последние произведения, полные ужаса, горечи и сарказма, освещаются изнутри светом Христовой истины. Так, в эпическом полотне «*рансодии*» «Юдоль», когда «голод тела» и «голод души» доводит народ до тяжчайших преступлений: воровства, разбоя, проституции, убийств, канибализма,— когда кажется, что ниже упасть духовно и нравственно уже *некуда*,— основной тональностью, лейтмотивом звучат знаменательные слова: «*Надо подниматься!*» (XI, 298).

Лесков в своей «художественной проповеди» выступает не только как писатель, но и как духовный наставник своих читателей. В рассказе «*из отроческих воспоминаний*» «Томленье духа» (1890) герой открыто говорит сильным мира сего неудобоваримые для них истины, за что лишается хозяевами места детского наставника. Рассказ завершается длинной прощальной проповедью на дороге. Пострадавший за правду, изгнанный учитель внушает провожающим его детям истины Евангелия, совершающие «поворот вовнутрь себя» (XI, 525); намечает духовно-нравственные ориентиры на всю дальнейшую жизнь: «Без клятвы будь правдив <...> не лги ни словом, ни лицом... Не бойся никого» (12, 395).

Как и во многих прежних произведениях («Пугало», «Зверь», «Привидение в Инженерном замке», «Несмертельный Голован» и др.), Лесков поднимает проблему *любви и страха* и устами героя доказывает, что с явлением Христа страх был побежден совершенной любовью: «Здесь трое нас, и кто между нас?... <...> Страх? Нет, не страх, а наш Христос!» (12, 395). Религиозно-нравственная позиция автора выливается в проповедническое душеспасительное наставничество: «Чистая совесть где хотите покажет Бога, а ложь где хотите удалит от Бога. Никого не бойтесь и ни для чего не лгите» (12, 396).

* Подробнее об этом см.: Лесков А. Н. Указ. соч.— Т. 2.— С. 410 — 415.

** Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т.— Т. 86.— С. 49.

*** Цит. по: Лесков А. Н. Указ. соч.— Т. 2.— С. 407.

Ценитель и знаток искусства иконописи, Лесков находил, что и на русской иконе изображен не страшный Судия мира, а добрый *Спась*, готовый прийти на помощь. Являя «гениальное чутье к Православию»*, писатель был убежден, что у русского человека — «Христос за пазушкой» («На краю света»).

Оставшийся неизданным при жизни Лескова «Заячий ремиз»** — «*лебединая песнь*» писателя, которая под его пером вылилась в вековую мечту о *жар-птице*. Повесть притягивает внимание, ей посвящаются обстоятельные исследования, однако ни одно из них пока не исчерпало религиозно-нравственную и философскую глубину лесковского текста. Основанный на Библии, он по сути неисчерпаем и открывает все новые и новые возможности для интерпретации.

В «Заячем ремизе», впервые изданном в 1917 г.— «в эти абсолютно нелитературные времена»,— «загробный голос Лескова прозвучал со страниц “Нивы” как призывный колокол»***. Д. Философов сравнил выход повести в предисловии к ней с «белоснежным пшеничным хлебом русской литературы»****, который получили голодные физически и духовно читатели.

Загадочное название повести несколько проясняется в письме Лескова к Б. М. Бубнову <1891 г.>: ««<...> *мнимый покой*”. — “*Зайца обманчивый сон!*.” Именно все это “заячий сон”, с одним закрытым глазом и хлопающими ушами от страха утратить все, чем владеешь. Кажи нам, что есть крепкого,— за что можно удержаться, не делаясь жертвой случайностей и чужих прихотей, часто как раз рассчитанных на то, чтобы понизить в тебе “Сына человеческого”, Которого ты обязан “вознести”, и других к тому же склонить, и убедить, и “укрепить слабеющие руки”» (XI, 501). Письмо это, написанное по иному поводу, глубоко иллюстрирует концепцию «Заячьего ремиза».

Сатирическая сторона произведения: когда герою только и остается, что «скрыться» в своем частном сумасшествии от всеобщей невменяемости и безумия общественного устройства, а также все, что ведет к расчеловечиванию, «оболваниванию» Оноприя Перегуда, подробно описаны исследователями. Важно сосредоточить основное внимание на противоположно направленном изменении «натуры» героя: на пути его возвращения от «оболванивания» к «истинному человеку», то есть Божественному началу, скрытому тенью «телесного болвана», «пониженному», «жесточайше уменьчтоженному» (497). Перегуд осознает необходимость отыскать в самом себе и «вознести» «невидимую и присносущную силу и Божество того человека, коего все наши болваны суть аки бы зеркаловидные тени» (496).

Не только эпиграф, взятый из «Диалога, или разглагола о древнем мире» Григория Сковороды (1722—1794), но и другие христианские идеи украинского философа воплощает Лесков в своей повести. Основная из них — «надо идти и тащить вперед своего “телесного болвана”» (580), не позволяя ему взять верх над «истинным» — духовным — человеком.

Заразившись хронической «инфекцией» государственной политики — «ловитвой потрясателей основ», что «троны шатают»,— Оноприй Перегуд перерождается: внутренние изменения происходят и на внешнем уровне (не раз проходит мотив зеркального отражения — «*зеркаловидной тени*»,— заявленный в философском эпиграфе): «у меня вид в лице моем переменялся <...> и стали у меня, як у тях, очи як све-

* Дурьлин С. Н. О религиозном творчестве Н.С. Лескова // Христианская мысль.— Киев, 1916.— № XI.— С. 77.

** В феврале 1895 г. (за несколько дней до кончины Лескова) М. Стасюлевич, редактор «Вестника Европы», испугавшись цензуры, отказался печатать повесть, извиняясь перед автором его же остроумной шуткой, позаимствованной из «Заячьего ремиза»: «можно очень самому обремизиться <...> подвергнуться участи “разгневанного налива” <...> и непременно попадете в архиерейскую уху». Цит. по: Лесков Н. С. Собр. соч.: В 3-х т.— Т. 3.— М.: Худож. лит., 1988.— С. 646. Далее ссылки на страницы этого издания приводятся в тексте.

*** Философов Д. Пшеничный хлеб // Нива.— 1917.— №№ 41—43.— 28 октября.

**** Там же.

щи потухлы, а зубы обнажены... Тпфу, какое препоганство!» (539). В зеркале Перегуд видит именно то, о чем предупреждал когда-то его родителей, решающих судьбу сына, умница-архиерей (образ колоритный, привлекательный, симпатичный и близкий самому Лескову): «Еще что за удовольствие определять сына в ловитчики! <...> “Се стражи адовные, стоящие яко аспиды: очеса их яко свечи потухлы и зубы обнажены”» (516).

Жуткий *образ* «адова стража» из библейской Книги Еноха настойчиво повторяется на протяжении всей истории маниакальной одержимости героя подозрительностью, шпионством, доносами, погонями за мнимыми «сицилистами». Перегуд в прямом смысле теряет свою человеческую сущность, окончательно сходит с ума, когда выясняется, что «дерзновеннейший потрясователь» был его собственный кучер-орловец Теренька: «О, Боже мій милій! А кто же был я? Вот только это и есть неизвестно» (573).

С очами, «яко свечи потухлы», Оноприй Перегуд-становой безмерно далек от того мальчика-певчего, посвященного в стихари, каким он был, когда «перед всеми посередь дни свечю стоял и светил» (517). Он утрачивает божественный свет «истинного человека», окончательно превращаясь в «болвана».

В эпизоде с «подозрительной» Юлией Семеновной — «коса ей урезана, и в очках, а научена на все познания в Петербургской педагогии» (544) — Перегуд, дабы разузнать, что скрывают темные очки, просит позволения посмотреть в ее «окуляры» и ведет себя почти как в крыловской басне «Мартышка и очки». Он начисто лишается своего прежнего духовного опыта, забывает Священное Писание, которому был учен у архиерея, и попадает в преглупейшее положение, когда пытается «вывести на чистую воду» стриженую, в «окулярах» Юлию Семеновну, заставляя девушку написать о том, что она думает о богатстве и бедности. Ее записи, не распознав в них текстов Нового Завета (Мф. 13: 22; Иак. 2: 6), становой отсылает начальству как донос.

«Вот наинесчастнейший человек, который охотился за чужими “волосами”, а явился сам острижен. Какое смешное и жалкое состояние, и сколь подло то, что их до этого доводят» (573), — таково резюме автора.

Уже будучи в сумасшедшем доме, Перегуд верно трактует свое прежнее безумие, объясняя его причины «гордыней» и «безмернейшим честолюбием» (536). Другими словами — «он впал в искушение» (531), забыв слова молитвы Христовой: «И не введи нас во искушение...»

Показатель духовного выздоровления, освобождения героя из сетей «бесовского наущения» (лова «потрясателя»), он сам был пойман и запутан в «сети», подобно приснопамятному «огорченному налиму») — следующая самооценка Перегуда: «когда я <...> вспоминаю об этих безумных мечтах моих, то не поверите, а мне делается ужасно!» (536). Импульс к освобождению из адских сетей способствует торжеству человека.

«Цыпленок зачинается в яйце тогда, когда оно портится» (576), — этим замечанием философа Григория Сковороды поясняется процесс, происходящий в герое: пусть он уже не годится для прежней «социальной» жизни, зато в духе его «поднимается лучшее» (576).

В доме для умалишенных Перегуд приближается к высшим истинам: он избавился от цивилизации, в которой все было скрыто мраком, перемешано (точнее — *помешано*). Теперь у героя «вырастают крылья», и по ночам он «улетает отсюда “в болото” и там высиживает среди кочек цаплины яйца, из которых непременно должны выйти жар-птицы» (579). Все стараются вывести жар-птиц, «только пока еще не выходят потому, что в нас много гордости» (580).

Знаменателен этот мифопоэтический образ жар-птицы — «золотой» небожительницы, обитательницы нового «Небесного града», символизирующей в новом контексте духовную просветленность, вознесенность к идеалу.

Духовное прозрение Перегуда ведет его к евангельской истине о том, что из несовершенного, греховного не может зародиться нечто совершенное. Люди пока дале-

ки от обожения, от заповеди Христовой: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть» (Мф. 5: 48),— хотя по гордыне своей уже мнят себя будущими творцами «жар-птиц». Однако «высидеть», духовно переродить «цаплины яйца» человеку без Божьей помощи не под силу.

Не случайно в повести несколько раз цитируется Овидий, запрещавший людям «пожирать своих кормильцев», а люди не слышат и не видят» (581). В обществе все «пожирают» друг друга, также и «цаплиным яйцом» человек хочет просто воспользоваться для пропитания своего «телесного болвана», а не «высидеть» нечто духовно высшее: «Жар-птица не зачинается, когда все сами хотят цаплины яйца съесть» (580).

Перегуд видит «цивилизацию» в сатанинском коловращении «игры с болванами», социальными ролями, масками: «Для чего все очами бочут, а устами гогочут, и меняются, як луна, и беспокоятся, як сатана?» (580). Всеобщее лицемерие, бесовское лицедейство, замкнутый порочный круг обмана отразился в Перегудовой «грамматике», которая только внешне кажется бредом сумасшедшего: «я хожу по ковру, и я хожу, пока вру, и ты ходишь, пока врешь, и он ходит, пока врет, и мы ходим, пока врем, и они ходят, пока врут... Пожалей всех, Господи, пожалей!» (580). Это прямое обращение к Богу — *молитва за всех*, характерная для творений Лескова. Все достойно Божьей милости и жалости: одни страдают от сознания своей греховности, другие тоже страдают, потому что не ведают о собственном несовершенстве.

Приобщившись к этой истине, Перегуд «победил смерть» духовно. «Посему мы не унываем,— говорит Апостол Павел,— но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2-е Коринф. 4: 16). Эта евангельская истина проливает свет на «загадку» прощальной повести Лескова.

Картина грозовой «воробьиной ночи», развернутая в эпилоге в христианско-философское обобщение, приобретает поистине универсальный, космический масштаб. Громчайшие буквы Г и Д — литеры, именуемые в азбуке «Глаголь», «Добро»,— вырезанные Перегудом, осветились «страшным великолепием» грозы и отразились «овамо и семо».

Так в последнем произведении Лескова метафорически исполняется его собственная мечта — писателя-проповедника добра и истины, преследуемого цензурой: настоящее изобретение не печатный станок Гуттенберга, ибо он «не может бороться с запрещениями», а то, «которому ничто не может помешать светить на весь мир <...> Он все напечатает прямо по небу» (581).

Однако герой, постигший истину, уже не может оставаться на грешной земле — тут же совершает он переход «в шатры Симовы».

Важная цель «позднего» Лескова — подготовка человека к выходу в другую жизнь: «Все чувствую, как будто ухожу...» — говорил писатель в одном из последних писем*. Происходит «раскрытие сердца, просветление духа, отверзание разумения»**. Так завершается «томленье духа» и происходит его освобождение. Свершается паломничество человека к своему священному предназначению: «Им же образом желает елень на источники водные, сице желает душа моя ко Богу крепкому, Богу, благодеевшему мне» (7, 350).

Незадолго перед тем, как самому оставить надетую на него на земле «кожаную ризу», Лесков размышлял о «высокой правде» Божьего суда: «совершится над всяким усопшим суд нелицеприятный и праведный, по такой высокой правде, о которой мы при здешнем разуме понятия не имеем»***.

Всей «художественной проповедью» своего творчества Лесков сам стремился приблизиться к уяснению «высокой правды» и исполнить то, что «Богу угодно, чтобы “все приходили в лучший разум и в познание истины”»****.

* Цит. по: Лесков А. Н. Указ. соч.— Т. 2.— С. 468.

** Там же.

*** Цит. по: Лесков А. Н. Указ. соч.— Т. 2.— С. 467.

**** Там же.